

ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ



БЕССМЕРТНАЯ СТРЕКОЗА



Уроки чтения (АСТ)

Дмитрий Воденников
Бессмертная стрекоза

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.161.1-09
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Воденников Д. Б.

Бессмертная стрекоза / Д. Б. Воденников — «Издательство АСТ»,
2022 — (Уроки чтения (АСТ))

ISBN 978-5-17-150294-2

Дмитрий Воденников — известный поэт, автор книг эссе «Воденников в прозе», «Сны о Чуне» и «Приснившиеся люди»; ведущий программы «Поэтический минимум» («Радио "Культура"»). В «Бессмертной стрекозе» автор снова улавливает частоты, недоступные привычным органам чувств: поэты-современники ведут диалог с призраками Серебряного века — и читатель даже не замечает, как становится участником этого разговора. Эссе были опубликованы в разное время на сайтах «Газета-Ru», millionaire.ru, [Sovlit](http://Sovlit.ru), [Storytel](http://Storytel.ru), в журналах *Elle*, *STORY*, в «Литературной газете», «Учительской газете», «Известиях», «Взгляде».

УДК 821.161.1-09
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-150294-2

© Воденников Д. Б., 2022
© Издательство АСТ, 2022

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Голоса из бездны | 6 |
| Нет, не всё | 16 |
| Это я, Феденька | 20 |
| Раковина навсегда | 24 |
| Сын шпиона, цветок лаванды | 30 |
| Цветок без твоего имени | 34 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 36 |

Дмитрий Воденников

Бессмертная стрекоза

© Воденников Д.Б., текст

© Паволга О., фото

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Я умру от войны.

Я умру от любви.

Я умру от старости.

Я никогда не умру.

Голоса из бездны

Я ни одного своего дедушку не помню: просто не видел.

Если по маминной линии это еще может быть понятный провал в детской памяти (ну был там какой-то дядя, приходил к бабушке, которая с ним давно развелась), то по папиной это просто было невозможно: он умер в пятьдесят первом году.

Моя тетка пишет (я почему-то полюбил это пушкинское «тетка», мы раньше так не говорили, только «тетя», «тетя», но вот Пушкин не боялся, так и писал: «Тетка меня все балует – для моего рождения прислала мне корзину с дынями, с земляникой, клубникой», – поэтому я теперь тоже как Пушкин, только без земляники), так вот моя тетка пишет:

«Сегодня семьдесят лет со дня смерти нашего с Борей папы. Это практически вся наша жизнь. Мало знаем, плохо помним, но воспитаны мамой в большой любви. Когда бываем в Крыму, всегда заезжаем на Братское кладбище».

И вешает фотографию.

А я смотрю на дедушкино лицо и почему-то обращаю внимание на губы. Они сложены в чуть-чуть ироничной улыбке. Кажется, дедушка не собирается относиться к нам серьезно.

Здравствуйте, Дмитрий Спиридонович. Вы меня не знаете, я вас тоже, но меня назвали в вашу честь и мне нравится, как вы улыбаетесь.

«Ш-ш-ш-ш», – говорит время. И то ли это ветер, то ли шип валика, то ли граммофонная пластинка, которая была записана, когда и дедушки моего не было, а полноправно властвовал только прадедушка.

Время так летит, оставляет за поворотом все, что казалось незыблемым, вечным, жизнь, жизнь оставляет, вот уже и поворот исчез, теперь какая-то новая большая дорога. Но пока есть память, туманные воспоминания, почему бы не подслушать сквозь хрип и шип времени – чужие голоса.

Я помню, как однажды моя мачеха, когда мне еще было лет двенадцать, принесла в дом (нет, нет, не подснежники, хотя это и не она по сказке должна была нести) пластинку фирмы «Мелодия». На обложке альбома (мы и не знали раньше таких слов, пластинка и пластинка, это только потом все стали называть их альбомами, да и стоит сразу сказать, что пластинка была виниловая) была фотография прекрасной женщины с грустными глазами, приспущенными уголками губ, челкой и с чем-то невероятным и белым на голове. То ли меховая шапка из ламы, то ли перья, то ли еще что.

«Потом я вспомню» называлась пластинка. «Белла Ахмадулина». И приписка: читает автор.

Потом я вспомню, что была жива,
зима была, и падал снег, жара
стесняла сердце, влюблена была —
в кого? во что?
Был дом на Поварской
(теперь зовут иначе)... День-деньской,
ночь напролет я влюблена была —
в кого? во что?
В тот дом на Поварской,
в пространство, что зовется мастерской
художника.
<...>

Художник уходит, а она (героиня, Ахмадулина? Ну, конечно, сама Ахмадулина: мы давно не верим в лирических героев) ждет его. И день в окне начинает меркнуть.

Потом я вспомню, что казался мне
труд ожиданья целью бытия,
но и тогда соотносила я
насущность чудной нежности – с тоской
грядущей... А дом на Поварской —
с немыслимым и неизбежным днем,
когда я буду вспоминать о нем...

Этот распев, эта печаль, эта тягучесть. «Потом я вспомню, что была жива». (Удивительно, я помню это стихотворение наизусть, но первую строчку повторяю неправильно. Я ставлю интонационное двоеточие: «Потом я вспомню: я была жива». Никаких союзов.)

Как странно бывает слушать поэтов. Особенно тех, кого и послушать не мечтал. Кажется, ну как мы могли бы услышать Блока? Или Сологуба? Сквозь любой треск и любое шипение. Из темноты времени – не разбитые, как бы пришли к нам эти голоса? Да и в голову сперва не приходит, что их вообще кто-то мог записывать.

Но слава богу записали. И не разбили. Не стерли с валика.

Вот Брюсов звучит:

И в наших городах, в этой каменной бойне,
Где взмахи рубля острее томагавка,
Где музыка скорби лишена гармоний,
Где величава лишь смерть, а жизнь – только ставка...

Но придется прервать. Слишком много сипа в этой записи Валерия Брюсова (Блок вообще не дается для звукодемонстрации, утоплен в шум времени, только макушка голоса торчит).

Когда-то, давным-давно я сидел на маленькой даче у своих друзей. Там цвел окрепший розовый куст, стрекотал кузнечик. И там мы слушали диск с голосами поэтов начала XX века. Почему-то среди поэтов затесался и Лев Толстой. Но и он читал как поэт: нараспев. Причем что-то свое публицистическое, легендарное, чуть ли не «Не могу молчать».

И это было умилительным. Такая глыба, такой человечище читает грубую публицистику, зачем-то читает на фонограф (вышел к приехавшей команде, одернул свою толстовку, пригладил бороду, сел), и все равно – пел.

Как и все до него. Все пели, все звучали через треск, хрип и шипенье, все тосковали.

И только один Мандельштам – торжествовал.

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадает.

Я с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело, —
Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового —
Какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, – а потом
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем.

Корней Чуковский когда-то написал о Мандельштаме (в 1920 году), что в комнате его «не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос – ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту – безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада». А Волошин сказал: «Мандельштам не хочет разговаривать стихом – это прирожденный певец... Голос Мандельштама необыкновенно звучен и богат оттенками...»

Но вообще больно (повторюсь) было слушать эти богатые и небогатые оттенками бестелесные голоса.

У современного поэта Всеволода Зельченко есть стихотворение «Футуристы в 1913 году»:

Когда могучая зима пригнула нас к земле
И в пляс безносая сама пустилась на столе,
Когда опробовал Молох железное нутро —
Твой выбор был не так уж плох, покойница Гуро.
Покойница Гуро еще отыграет свою роль: она успеет сказать всем
нам «отомри» – и мы отомрем.
Мы все еще отомрем, да, дядя Ваня?
Она склонялась над котлом, где булькала вода, —
Вертясь винтом, варились в нем волчцы и лебеда,
Кто приносил ей изумруд, а кто совал пятак —
Она хватала, что дадут, и припевала так:
«Никто не может знать, зачем
над нами волен тот,
Кто нас осушит, а затем
по горлышко нальет,
Кто нас отпустит, а потом
до смерти прикует».

Зима всех до смерти приковала, пригнула к земле, певцов из 1913-го и далее годов налила по самое горлышко другим временем, другими звуками.

В общем, слушать этот диск было неуютно.

Потому что вдруг стало очень понятно, почему, собственно, революция произошла. Слишком много крыжовника, слишком уж белые крахмальные скатерти, слишком уж красиво на этой даче. Да и в городе тоже слишком красиво. И горничная обед подает, и супница ослепительная, и слушает она это чтение на фонограф, а потом говорит дворнику: «Опять загундели».

А дворник ничего ей в ответ. Его же дальше двери не пускают, он эту супницу, может, и в глаза не видел. (Где-то я прочитал, что после революции дворники особенно лютовали. Их можно понять: получали копейки, делали много, а видели еще больше. Поэтому ненавидели от души.)

Вполне вероятно, что сейчас дворник просто ждет, когда же все это нежное, фарфоровое, кисейное, высокоголосое окончательно захиреет, истончится, разобьется фарфоровой супницей, усохнет и будет смыто коллективным Зощенко (не автором, конечно, – его героями).

Так вот, два года тому назад, а именно в городе Саратове, произошли такие мелкопомещанские события. Один довольно-таки безыдейный молодой человек Серёжа Хренов, а именно служащий, или вернее браковщик-приемщик с одного учреждения, начал вроде как ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей. Или она за ним начала ухаживать. Сейчас за давностью времени нету возможности в этом разобраться. Только известно, что стали их вместе замечать на саратовских улицах.

Начали они вместе гулять и выходить. Начали даже под ручку прохаживаться. Начали разные всякие любовные слова произносить. И так далее. И тому подобное. И прочее.

А этот молодой франтоватый браковщик однажды так замечает своей даме:

– Вот, говорит, чего, гражданка Л. Сейчас, говорит, мы гуляем с вами и вместе ходим и безусловно, говорит, совершенно не можем предвидеть, чего от этого будет и получится. И, говорит, будьте любезны, дайте мне расписку, мол, в случае чего и если произойдет на свет ребенок, то никаких данных вы к означенному лицу не имеете. А я, говорит, находясь с такой распиской, буду, говорит, более с вами откровенен, а то, говорит, сейчас окончательно убита любовь и каждое действие предусматривает уголовный кодекс. И я, говорит, скорее всего, отвернусь от нашей с вами любви, чем я буду впоследствии беспокоиться за свои действия и платить деньги за содержание потомства.

Но вернемся все-таки к Ахмадулиной. У нее есть стихотворение: «Пластинки глупенькое чудо».

Пластинки глупенькое чудо,
Проигрыватель – вздор какой,
И слышно, как невесть откуда,
Из недр стесненных, из-под спуда
Корней, сопревших трав и хвой,
Где закипает перегной,
Вздымая пар до небосвода,
Нет, глубже мыслимых глубин,
Из пекла, где пекут рубин
И начинается природа, —

Исторгнут, близится, и вот
Донесся бас земли и вод,
Которым молвлено протяжно,
Как будто вовсе без труда,
Так легкомысленно, так важно:
«...Дорога не скажу куда...»
Меж нами так не говорят,
Нет у людей такого знания,
Ни вымыслом, ни наугад
Тому не подыскать названья,
Что мы, в невежестве своем,
Строкой бессмертной назовем.

Этому стихотворению предпослан эпиграф: «...Дорога не скажу куда...» Из Ахматовой. Интересны взаимоотношения Ахматовой и Ахмадулиной. Первая вторую по-царски, но немного настороженно принимала (может, слишком громкая слава, а Ахматова была ревнива; может, потому что Ахмадулина была молода), вторая же первую боготворила.

Смешной эпизод. Из воспоминаний Ахмадулиной:

Позвонила Н.И.: «Вы уже видели Ахматову – дважды в один день. Можно и привыкнуть. Анна Андреевна хочет поехать за город. Я сегодня не могу повезти ее. Позвоните ей, повезите. Вот номер телефона».

Ахматова тогда остановилась у своей знаменитой приятельницы, на Садовом кольце, рядом с площадью Маяковского.

Глубокое чувство обреченности овладело мной. В этом не было мистики. Был автомеханик Иван Иванович, гений своего дела, он сурово учил меня ездить, менять колесо за пять минут – не дольше! Заклеивать мылом бензобак – в случае протечки (мыло – было). Но вот когда «иглу заливает бензином», – он мог это исправить, я уже ничего не могла поправить.

Позвонила по указанному телефону. Великий голос (я всегда слышу: «... Дорога не скажу куда...») ответил: «Благодарю Вас. Жду Вас в двенадцать часов. В полдень».

Я понимала, что не в полночь. Не понимала: что надеть? В уме стояло воспоминание: Чехов едет к Толстому в Гаспру, думает: что надеть? (описано Буниным).

Надела то, что под руку попало: синие узкие брюки, оранжевый свитер, это уже входило в обреченность. Ровно в полдень (помедлив возле дома) поднялась, позвонила в дверь.

Прекрасная дама, в черном платье, встретила меня, справедливо-брезгливо оглядела меня, сказала: «Анна Андреевна ждет Вас. Вы умеете это делать?» (изящными запястьями изобразила руль автомобиля).

Плохие предчувствия крепчали, хороших не бывает.

Вышла Ахматова, в черном платье.

Сине-оранжевая, я опять держала ее локоть, плавно-громоздко мы спустились по лестнице, я открыла дверь автомобиля, села за руль. У следующего перекрестка (при повороте на Петровку) машина остановилась навсегда. Это и была игра иглы с бензином. Я сидела, ничего не делаю. Мешала проехать грузовику, водитель кричал: «Баба за рулем! Две дуры – молодая и старая!»

Его зоркость, обращенную ко мне, тоже следует отметить: он высунул голову из кабины. Я показалась себе ровесницей горя, старше беды.

«Вам никакой не подходит?» – спросила Ахматова: цвет, цвет, цвет светофора менялись несколько раз.

Я завидую ей – молодой
и худой, как рабы на галере:
горячей, чем рабыни в гареме,
возжигала зрачок золотой
и глядела, как вместе горели
две зари по-над невской водой.

Это имя, каким назвалась,
потому что сама захотела, —
нарушенье черты и предела
и востока незваная власть,
так – на северный край чистотела
вдруг – персидской сирени напасть.

Но ее и мое имена
были схожи основой кромешной,
лишь однажды взглянула с усмешкой,
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать – посмевшей
зваться так, как назвали меня?

Я завидую ей – молодой
до печали, но до упаданья
головой в ладонь, до страданья,
я завидую ей же – седой
в час, когда не прервали свиданья
две зари по-над невской водой.

Ахмадулина сравнивает Ахматову с колоколом, седым и грузным. Он звучит над нами, за нас, этот колокол. Он поет. Скоро мы узнаем, что мы даже не слышим на самом деле, о чем он поет. Просто не в состоянии это услышать: нет у нас для этого достаточно развитого органа слуховых чувств.

И вот окончательный вывод.

Я завидую ей – меж корней,
нищей пленнице рая и ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
за судьбу быть не мною, а ей.

Белла Ахмадулина

К вопросу о зависти.

У Ахматовой есть стихотворение, в котором я тоже, читая его по памяти, всегда совершаю ошибку. Заменяю союз.

В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводнения в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине – нелепость.
А я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость! —

Затем что воздух был совсем не наш,
А как подарок Божий – так чудесен.
И в этот час была мне отдана
Последняя из всех безумных песен.

Мне так нравится этот союз «а». Представьте себе: стоит женщина на набережной, стоит мужчина. Он что-то там бурчит, дескать, хватит, Аня, глупостями заниматься, стишки писать, домом бы занялась, семьей. А она кивает, слушает его, а сама смотрит как бы через него или поверх его плеча. На Петропавловскую крепость. Потому что знает, что это все уже прошло («В последний раз мы встретились тогда»), что стихи не вырвать, не отменить. Что не она их, а они ее пишут.

Но соглашается, но кивает: да, нелепость. Да, ты прав. Все верно говоришь. И все это делает всего лишь союз «а». «А я запомнила...» Только вот печаль: этого нет в тексте. В тексте есть совсем другой союз.

В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводнения в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине – нелепость.
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость! —

В этот момент мне все время хочется остановиться и спросить: «Ну и как вы его запомнили, Анна Андреевна? Вам никакой другой союз, кроме высокопарного “как”, сейчас не подходит?»

В общем, завидуйте, мои хрипящие, мои трескучие: мой вариант лучше.

Впрочем, бог его знает. Может, я просто тот грядущий хам, о котором предупреждал Мережковский? И которого потом воспел Зощенко (вот уж кто слышал звук, как мало кто, неслучайно его так любил Манделштам, а потом время зарифмовало с легендарным постановлением с той же Ахматовой). Может, я и есть тот зощенковский Былинкин? Человек небольшого ума? Невысокого полета?

Помните?

Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала:

– Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?

На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно:

– Жрать хочет, оттого и поет.

И только потом, несколько освоившись с психологией барышни, Былинкин отвечал более подробно и туманно. Он предполагал, что птица поет о какой-то будущей распрекрасной жизни.

Я недавно понял, что песня-антоним этой былинковской соловьиной песне – это песня из Андерсена. Да и какая там песня? Песенка.

Ах, мой милый Августин,
Августин, Августин,
Ах, мой милый Августин,
Все прошло, все!

Я только не знал до недавнего времени, что это про чуму. Что был такой музыкант и бродяга, играл себе на волынке, пел свои песенки, жил в Вене, а когда в Вену пришла чума, он, напившись вина, вышел из кабака на улицу, еле держась на ногах, да и упал в яму, в которую сбрасывали трупы погибших от чумы. На этих мертвых он всю ночь и проспал. А когда очнулся (а там сверху еще новых мертвых не набросали), то пришел в такое отчаяние, что сел на кучу мертвых и начал играть эту песенку на волынке – в надежде, что его услышат и спасут.

Такой вот Орфей, спустившийся в ад. Такой вот Дант, воспевший ад на волынке.

Из братской могилы ему пришедшие с новыми трупами вылезти помогли, но конец у всех одинаков: через несколько лет волынщик все равно умер. Но смерть была не такой страшной, без дантовского образа и силы – просто умер от алкоголя: что-то сломалось, сердце, наверное, остановилось.

Денег нет, счастья нет,
Все прошло, Августин!
Платя нет, шляпы нет,
В грязь упал Августин.
Все прошло, все!

В русской же литературе песенки недорого стоят: никого не спасают, даже временно (колобок вот свою песенку пел, да в рот лисе и попал), песенки в русской литературе не в цене – если и мелькают где, то ничего уже не сулят. Тема маленького человека, кому она теперь нужна, да и сам он кому теперь нужен. Мелкая вишенка страшной или скучной поры, он достоин своих маленьких песен.

У Татьяны Толстой в рассказе «Река Оккервиль» неслучайно творожистый Симеонов любит не оперу, не симфонию, не какого-нибудь забугорного авангардиста, – онлюбит романс. Да и какой! Граммофонный. Не радиола, не проигрыватель «Мелодия» для пластинок одноименной единственной в СССР фирмы. Граммофон.

...Симеонов, чувствуя себя особенно носатым, лысеющим, особенно ощущая свои нестарые года вокруг лица и дешевые носки далеко внизу, на границе существования, ставил чайник, стирал рукавом пыль со стола,

расчищал от книг, высунувших белые язычки закладок, пространство, устанавливал граммофон, подбирая нужную по толщине книгу, чтобы подsunуть под хромой его уголок, и заранее, авансом блаженствуя, извлекал из рваного, пятнами желтизны пошедшего конверта Веру Васильевну – старый, тяжелый, антрацитом отливающий круг, не расщепленный гладкими концентрическими окружностями – с каждой стороны по одному романсу.

– Нет, не тебя! так пылко! я! люблю! – подскакивая, потрескивая и шипя, быстро вертелась под иглой Вера Васильевна; шипение, треск и кружение завивались черной воронкой, расширялись граммофонной трубой, и, торжествуя победу над Симеоновым, неся из фестончатой орхидеи божественный, темный, низкий, сначала кружевной и пыльный, потом набухающий подводным напором, восстающий из глубин, преображающийся, огнями на воде колыхающийся, – пщ-пщ-пщ, пщ-пщ-пщ, – парусом надувающийся голос.

Чем тут «ужасен» граммофон? Тем, что он устарел и стал пошлостью почти сразу, как только появился. Мещане, дачники, пустые досуги.

У Тэффи этих граммофонов полно. В одном проходном рассказе мелькает:

Попросил меня сыграть на рояле что-нибудь церковное. – Да я не умею. – Ну, и очень глупо. Церковное всегда надо играть, чтоб соседи слышали. Купи хоть граммофон.

Всё в одной связке: «Церковное всегда надо играть, чтоб соседи слышали», которое играют на рояле и которое играет теперь граммофон. Ах, мой милый Августин, все прошло, все.

У Андрея Платонова в его записных книжках встретилось:

Гордость: отец сажает 10-летнюю дочку, надевает ей очки, открывает окно, заводит граммофон, пьет чай. Прохожие завидуют: дочь в очках – образованная, граммофон – богатство, чай пьет с сахаром.

Пройдет лет двадцать-тридцать – и у Ахмадулиной граммофон уже выйдет очищенным из огня и пыли времени, как феникс (и, может быть, этой пылью и очищенный, как чистили раньше песком самовар), прощенный и простительный, как символ всего, на что она хотела бы быть похожа – по крайней мере, чего бы не устыдилась.

О, для раската громового
так широко открыт раструб.
Четыре вещей граммофона
во тьме причудливо растут.

Я им родня, я погибаю
от нежности, когда вхожу,
я так же шею выгибаю
и так же голову держу.

Я, как они, витиевата,
и горла обнажен проем.
Звук незапамятного вальса
сохранен в голосе моем.

Не их ли зов меня окликнул
и не они ль меня влекли
очнуться в грозном и великом
недоумении любви?

Впрочем, Ахмадулина – какой с нее спрос? У Берберовой в ее книге «Курсив мой» есть более показательное:

– Советское дитя! – сказала мне однажды в 1920 году одна барыня, взяв меня за подбородок и сверля меня глазами.

– Что вы хотите, Марья Иванна, мы едим перловую кашу, танцуем под граммофон и носим рвань.

Диагноз поставлен, слово найдено, вопрос снят.

И пусть дикая Цветаева не захочет мириться (рамок не любила, вызов принимала, строила себя специально с вывертом):

...А граммофон, из темного угла вытягивая к нам свое вишневое деревянное певчее горло, пел и играл нам – все, что умел, всё, что «умели» – мы: нашу молодость, нашу любовь, нашу тоску, нашу разлуку.

И когда я, потом, перед отъездом из России, продала его татарину, я часть своей души продала – и всю свою молодость.

(Из «Повести о Сонечке»)

Ах, мой милый Августин, ах вы, моя милая Марина Иванна, что вы можете сделать? Вы уже упали в яму, и никто не услышит вашу волынку, и никакой товарищ татарин не вытянет.

Иголлка зацепилась за трещину и елозит уже полминуты одно и то же: Вера Васильевна как будто икает. Надо Веру Васильевну напоить водой либо испугать. Все прошло, все.

Нет, не всё

«Дичок, медвежонок, Миньона», – повторяю я про себя.

(Это из списка нежных слов для мертвой женщины у Мандельштама. «Возможна ли женщине мертвой хвала?»)

А если подобрать такие слова к самому Мандельштаму – что это будет?

Сверчок, кузнечик, скандалист?

Щегол, звучащая раковина, старик?

Чего-то там бормочет себе под нос. «Мы только с голоса пойдем, что там царпалось, боролось».

И вдруг учудит скандал.

Известная история с пощечиной Алексею Толстому.

Сейчас даже не хочется уточнять – какие-то деньги, не вернули долг, молодой поэт Саргиджан: он, вместо того чтоб вернуть, накупил продуктов; Мандельштам увидел его, кричит в форточку: «Вот, молодой поэт не отдает старшему товарищу долг, а сам приглашает гостей и распивает с ними вино». Началась ссора. Саргиджан полез с кулаками на Мандельштама, получила свое и Надежда Яковлевна. (Вот же: не хотел рассказывать – рассказал; с Мандельштамом всегда так.)

Потом был товарищеский суд, председатель Алексей Толстой встал на сторону Саргиджана. Молодой поэт, новые голоса, будущее литературы. Недопустимое поведение старшего товарища поэта Мандельштама. Еще и жена ввязалась.

Молодого поэта все-таки обязали вернуть по возможности деньги. (Мне нравится это «по возможности».)

Этого Осип Эмильевич стерпеть тоже не смог.

Через два года Мандельштамы едут в Ленинград. В «Издательстве писателей» Мандельштам встречает Толстого, и прямо там Толстой и получает своего отложенного леща.

«Вот вам за товарищеский суд!» – кричит О.М.

Скандал вспыхнул снова.

Известный поэт Перец Маркиш реагирует изысканно: «О, еврей дал пощечину графу».

Роняет свое увесистое слово Горький: «Мы ему покажем, как бить русских писателей».

... В сущности, вся эта история с долгом и потом битьем по лицу – бунт маленького человека. Шинель Башмачкина. Месть за то, что шинель у него украли, а потом еще и на товарищеский суд вызвали.

Мандельштам в бытовом своем поведении и есть этот взбунтовавшийся Башмачкин. Вся разница в том, что этот смешной и вздорный еврейский Башмачкин был не переписчиком, а гениальным поэтом.

Вот из Гоголя:

Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», – подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забило в груди. «А ведь шинель-то моя!» – сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, примолвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич

чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади.

Этот недолетающий голос и эти мелькнувшие на злоумышленниках случайные усы на этом не закончатся и еще будут записаны: Мандельштам и на Сталина потом прыгает, как Башмачкин прыгал на гоголевское Значительное Лицо.

Снова из Николая Васильевича:

Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном виц-мундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца pokrивился и, пахнувши на него страшно могилую, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, – отдавай же теперь свою!» Бедное значительное лицо чуть не умер. <...> Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!»

Только реальный Сталин реального Мандельштама, еще не пахнувшего могилкой, не испугался. Есть версия, что ему даже эта «эпиграмма» польстила (вокруг-то все тонкошеие). Мы все помним начало текста (но тонкошеие вожди появятся там только во второй строфе).

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
<...>

Шинель маленькому гоголевскому человеку Мандельштаму за все это безобразие, разумеется, не отдали, но и наказание было на удивление мягким. Ссылка. Это потом уже все кончилось лагерем. Но сколько воды сперва утекло.

...Интересен тут еще и мотив «глухоты».

Речи, как известно из стихотворения, не слышны за десять шагов – но почему именно за десять?

Юрий Фрейдин, врач-психиатр и литературовед, сопредседатель Мандельштамовского общества, высказывает любопытную версию.

Оказывается, тогда при призыве в армию такое было расстояние для проверки слуха в кабинете отоларинголога.

У Мандельштама мелькала тема «неслышания» – в его гениальном «Ламарке» («Наступает глухота паучья, здесь провал сильнее наших сил»), теперь вот и мотив беззвучности, полубеззвучности.

То есть теперь не только глухота, но и само отсутствие звука. Мост вот-вот поднимется, и нам по подвижной лестнице Ламарка уже не сбежать.

И еще одно очень интересное чужое наблюдение.

Оказывается, в 1938 году, когда Осипа Мандельштама арестовали повторно, никто из следователей не припомнил ему этот текст. Что странно.

Опять Фрейдин:

Никто из упомянутых Осипом Эмильевичем в 1934 году слушателей за это стихотворение, за то, что он его слышал, не пострадал, привлечен не был. Единственный человек, кому это стихотворение вменялось, это был Лев Николаевич Гумилёв, который, собственно, был повторно арестован и пошел в лагерь по доносу, где фигурировало, в частности, чтение им этого стихотворения.

Но Мандельштам-то, Мандельштам – сам хорош: «Я написал стихотворение, за которое меня могут расстрелять», – а теперь читает его налево и направо. Дичок, медвежонок, Миньона. Скворец, кузнечик, человек, физически не способный микшировать свой голос.

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гамме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружились листья,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Вот так и бродит этот призрак, призрак Мандельштама. По русской литературе. И по городам: Москва, Петербург, Воронеж.

И памятник ему не поставишь (ну то есть поставишь, но тоже как-то криво, в закутке, – вот Ахматову поставили так поставили: там, где просила; а Мандельштам не просил).

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

И вроде бы всё. (Нет, не всё.) Говорят, с недавних пор прекратились совсем появления поэта-мертвеца и в Москве, и в Петербурге. Видимо, гоголевская шинель с плеч испуганного генерала пришлась ему впору. Никто больше не слышит, чтоб сдергивали шинель с чьих-то плеч. Никто не кричит в форточку. Никто не едет в Ленинград и не ударяет Алексея Толстого по лицу.

Хотя...

Некоторые шепчут не дальше десяти шагов, что в дальних частях города, а иногда и не в дальних, а в самых что ни на есть центральных частях Васильевского острова, например на 8-й линии (где жил брат Мандельштама Евгений и где было написано известное стихотворение «Ленинград» с легендарным «Я вернулся в свой город, знакомый до слез»), иногда все-таки показывается поэт-мертвец.

И уж точно известно, как один милиционер, проходя мимо булочной-пекарни «Хлебушек» в Коломне, «видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилён, <...> он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: “Тебе чего хочется?” – и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь».

Милиционер (ой, простите, полицейский) не нашелся, что ответить, кроме «ничего», да и поворотил тот же час назад.

Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.

То есть опять Мандельштам учинил скандал. Жутковатый.
Но были и посмешней.

Как-то, вернувшись из города домой, Надя [Надежда Яковлевна Мандельштам] весело рассказывала об одной из обычных трамвайных перебранок. Они пробивались к выходу, получая тычки и виртуозно отругиваясь. Но последнее слово осталось за оппонентом. «Старик беззубый», – обозвал он Мандельштама. Выйдя уже на переднюю площадку, Осип Эмильевич приоткрыл дверь в вагон, просунул голову и торжествующе провозгласил: «Зубы будут!» С этим победным кличем они вышли из трамвая.

Зубов, кажется, так и не было.

Это я, Феденька

У того же Осипа Манделъштама есть загадочное стихотворение, где он раздает слова-символы в подарок поэтам. Почему одному это, а другому то – загадка.

Манделъштам тут как сорока-белобока. Которая, как известно, варила кашу и кормила деток, но делала это странно: этому дала, этому дала, а этому почему-то нет.

Объяснение, что последний птенец не ходил в лес, не рубил дров, не топил печку и не варил кашу, не выдерживает никакой критики: нигде не сказано, что предыдущие сорочки дети принимали хоть какое-то участие в приготовлении пищи. Скорей всего, сорока просто не любит последнего – и это в чистом виде абьюз.

Манделъштам в своем стихотворении добрее сороки, хотя тоже что-то темнит («А перстенок-то я приберу, никому не дам»). И именно Тютчеву он предлагает вручить наш первый общий подарок.

Причем Тютчеву достается стрекоза с ударением на второй слог.

Дайте Тютчеву стрекóзу —
Догадайтесь, почему.
Веневитинову – розу,
Ну а перстень – никому.
Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.
А еще над нами волен
Лермонтов – мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

Ну что ж, попробуем догадаться. Почему Тютчеву достается именно стрекоза? Наверное, он их очень любил, часто в стихах упоминал?

Нет. Знающие люди говорят, что у Тютчева вообще есть только одно-единственное стихотворение, где эта самая стрекоза мелькает.

В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы...

Может, именно поэтому Манделъштам и предлагал нам Тютчеву ее подарить? В любом случае, это насекомое нам сейчас поможет – будет нашим проводником. И уже неважно, с ударением она на второй слог или последний.

Лети, лети, стрекоза, через запад на восток, будь нашим шпионом, нашим беспилотным дроном (извини за рифму).

...И вспорхнет первая стрекоза. Зависнет.

И видит своим фасеточным глазом (о, какое странное зрение: верхние фасетки делят мир на черное и белое, а нижние умеют, и отлично, лучше многих других насекомых различать цвета), видит какое-то препятствие. В принципе, ей неважно: люди это, или два теленка,

или вставшие на задние лапы две неодинаковые собаки. Она просто видит две фигуры: одна большая, другая куда поменьше.

Когда Фёдор Иванович был маленьким (уж не знаю, с курчавой головой или нет), к нему был приставлен в «дядьки» крестьянин, выкупившийся из крепостных и на добровольных началах поступивший на службу к родителям Тютчева. Четырехлетний Феденька (это он, он – та маленькая фигурка) привязался к Николаю Афанасьевичу Хлопову. А когда мальчику исполнилось шесть лет, Хлопов даже стал свидетелем пробуждения у ребенка определенных литературных способностей.

В 1809 году (тут история умалчивает: было ли это летом или поздней осенью – то есть могла ли какая-нибудь стрекоза подглядеть это, летя по своим хищным стрекозиным делам) маленький Тютчев, гуляя в роще недалеко от сельского кладбища, наткнулся на мертвую горлицу.

Кладбище, мертвая горлица... Что-то щелкнуло в голове (кстати, никакой не курчавой: если найти его детский портрет, увидим, что на нас смотрит ребенок с не очень густыми, старательно расчесанными рыжеватыми волосами) у шестилетнего мальчика, и он не только хоронит птицу, но еще и пишет на ее смерть поэтическую эпитафию.

...Только сейчас подумал: может, поэтому Мандельштам и предлагает дать Тютчеву стрекозу, что у того ее совсем в текстах нет? Вот уже ранее упомянутая первая поэтическая птица (жаль, что ту эпитафию не найти сейчас) появится у Тютчева во взрослых стихах, и не раз. «Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет, но не может». И лебедь будет, и коршун. А стрекозы нет. «Один раз» не считается. А как же в этой жизни без стрекозы?

Без стрекозы, без любви, без добрых напутствий. Никак нельзя – ни без первого, ни без второго, ни третьего. (Мы за комплексный обед. Приходим в столовую судьбы и требуем полного подноса. И хлеба, хлеба побольше.)

Кстати, о хлебе, духовном. У взрослого уже Тютчева сохранится икона, которую подарит ему «дядька» перед новым отъездом Фёдора Ивановича за границу (в первый раз Хлопов молодого Тютчева сопровождал и даже писал пространные письма-отчеты из Баварии матери поэта; в этот раз смысла в сопровождении уже нет).

На лицевой стороне иконы памятные даты его бывшего теперь питомца изображались в виде святых (например, в самом центре – Богоматерь «Взыскание погибших»), а на обороте уже постаревший слуга запишет своей рукой: «В сей день мы с Фёдором Ивановичем 1822 года приехали в Петербург, где он вступил в службу».

Есть и смешное (ну, в реальности, конечно, ничего смешного не было, там чуть не дуэль должна была состояться, но любое поучение, сделанное от чистого сердца, соскальзывает в анекдотическую повестку). Во втором и третьем углу иконы идет интригующее: «Генваря 19, 1825 г. Фёдор Иванович должен помнить, что случилось в Минхене от его нескромности и какая грозила опасность». Но опасность миновала. «20 генваря все кончилось благополучно».

А потом пройдет целая жизнь – и вспорхнет, по нашему авторскому произволу, пропевшая всю тютчевскую жизнь, проплясавшая, пропустившая ее вторая стрекоза.

Тютчеву уже за пятьдесят. Он едет в 1855 году снова в Овстуг, в село, где он и родился. Там он и напишет 13 августа (некоторые стрекозы летают до октября) свое знаменитое:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.

Можно позволить себе представить, как записал он это стихотворение, положил на прогретый солнцем подоконник, какая-то сбившаяся с пути стрекоза (вот же, вон они, твои мухи, комары, жуки и мотыльки, гонись за ними, кого-то съешь на лету, кого-то, потяжелее, уронишь на землю, расправишься там) примчалась, села на белый исписанный листок, поползала между словами «народа» и «не заметит», переползла на «смиренной», потом на «всю тебя», но надоело, до «Царя небесного» не добралась, вспорхнула – и поминай как звали.

Кто ж придумал, Иван Андреевич, кто ж сказал Вам, баснописец Крылов, что она все пела да танцевала? Она жрала. Все лето жрала. Перемалывала зазубренными челюстями тела жертв, все никак не могла остановиться. Стрекоза – это и есть любовь. Жизнь и любовь. Страшная морда, увеличенная макросъемкой, которая не пощадит никого – ни морда не пощадит, ни съемка. Давно ль, мальчик-стрекоза, гордясь своей победой, ты говорил: она моя... Год не прошел... Какой год, самец-стрекоза? Несколько месяцев ты живешь, ну так пойдй через месяца два, полети, спроси и сведай, что уцелело от нея?

Впрочем, я отвлекся.

Любовь, любовь – гласит преданье —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...
И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...

14–20 августа 1871 года у Тютчева состоится последнее свидание с Овстугом. Хотя, честно говоря, сейчас вся его жизнь – одно сплошное прощание. Уже семь лет назад умерла Денисьева, через два года после ее смерти умерла мать Тютчева, и потом еще череда смертей.

И вспорхнула бы третья стрекоза, да поздно. Уже зима катит в глаза. Стрекоза уж не поет. Приляжет под кустом. Услышит то ли щебетание, то ли визг полозьев. (Зимой стрекоз нет, но есть такое пограничное стихотворение Тютчева, когда он заснул и не может сквозь сон вообразить такое сочетанье: то ли полозья на снегу свистят, то ли весенняя ласточка щебечет.)

Холодно под кустом, мокро. О чем-то захочет стрекоза попросить (о прощении? о пощаде?), но не успеет. Зависнет. Заснет.

Точнее, не так. Заснет только левая половина тела. Удар, паралич, беспомощность. До этого – сильные головные боли. Умер Тютчев летом, но для боли и беспомощности нет сезонов и пестрых времен года. Зима – самое точное название для умиранья. Мы все умираем зимой.

...Лежит стрекоза, не могущая двинуть левой стороной тела, к ней подползает муравей, смотрит близко в ее фасеточные глаза своими фасеточными глазами, говорит: «Это абьюз. Это перстень, который никому не достанется. Это комплексный обед из не существующей в твоей

дворянской жизни столовой, который ты уже съел. Это птичка из твоей детской эпитафии. Это я, Феденька, твоя смерть».

Раковина навсегда

А снег падает, падает, падает, как будто ему мало было целой зимы. Как будто ему надо сейчас все опять замести. Но мы тоже не лыком шиты.

Это раньше ты тосковал, что так долго, так мало, так много. А теперь нет. Закалился. Еще месяц зимы? Да ради бога. Новый год в начале марта? Добро пожаловать.

Зима недаром злится: нашла коса на камень.

Зима тебя – косой, но только чиркнула. А на косе зазубрина.

Так закалялась сталь.

Она нас в дверь, мы – в окно.

«Не уходи, побудь со мною». «Наш уголок я убрала цветами». У нас стокгольмский синдром. Цепляемся за ноги зимы: «Мы тебя полюбили!»

Ей уже неудобно: «Тише, тише. Люди смотрят». А нам все равно: «Не уходи!»

«Какие-то припадочные», – думает зима. И снежочком нам, снежочком в рыло.

А мы обтерлись снежком, стоим – красные, довольные, на плечах шуба расстегнута, на ногах – черевички.

А никто не любит довольных, особенно в черевичках. Русская зима любит русское страдание.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В нашей семье с зимой оригинальная драма: мы ее любим, она нас – уже нет.

«Кто там в малиновом берете с послем испанским говорит?» И правда интересный вопрос. Ответ: это мы. Договариваемся с послем, чтобы зима от нас никуда не ушла. Обещаем обмен трубопровод. И кажется, испанский посол уже готов согласиться.

Но есть подозрение, что зима давно нервно смотрит налево. Никто не любит токсичных. Зима нам: «Не для тебя придет весна». А мы ей: «И не надо».

И опять чирк-чирк металлом по камню. И опять: «Не отрекаются любя». Стоим, плачем в луче света. В снегах. В рыжем парике.

Но рано или поздно камень выигрывает, а коса проиграет.

Просто. Надо. Уметь. Ждать.

...Мы в советское время не умели. У нас время для этого было слишком длинное, тягучее.

Как написал поэт литературного подполья той эпохи Всеволод Некрасов:

Первое мая
Потом
Черное море
Потом опять
Первое мая.

Между Черным морем и первым маем как раз и разлеглась она, зима.
Из Вс. Некрасова же:

Опять опять
Метель
Метель
Теперь опять
Теперь опять
Метель —

Теперь оттепель
Теперь опять метель

Вот весь круг советского человека. Смена времен года. Ничего не происходит, происходит только зима и весна. Оттепель (включая политическую), потом снова сон.

От этого – странная, почти болезненная жажда и ожидание смены сезонов. Мы никогда не умели ждать в Советском Союзе. Хотя всю жизнь проводили в очередях. Странная вещь, на первый взгляд, а на самом деле вполне логичная: время как будто стоит, вот мы его и подгоняем, хотя бы сезонно. Поэтому при всей вечноности и вязкости времени – жизнь в СССР была как будто призрачной. При всей закреплённости (пропиской, работой, телевизором, местом в очереди) – всё как в тумане. От этого необходимость жесткой сетки: лично мы чертили ее календарем. Неслучайно их так любили: отрывные и большие, настенные.

В советских отрывных календарях, которые выпускал Госполитиздат, было принято отсчитывать годы, прошедшие со времени Октябрьской революции. Если нечего отсчитывать – даты, связанные с классиками и важными, но классово правильными событиями. Потом смягчились: отсчитывать еще надо было, но появились рецепты, сезонные шутки, загадки и даже любовные стишки.

Но были и родственники помладше. Это не настенные календари и не отрывные. Это календарики.

Наверное, у многих в детстве было такое хобби. Например, кто-то клеил модели самолетов (у Дмитрия Быкова есть прозрачное стихотворение про апрель, и сейчас мы на время забудем про календарики и календари):

Весенний первый дождь. Вечерний сладкий час,
Когда еще светло, но потемнеет скоро.
По мокрой мостовой течет зеленый глаз
Приветствующего троллейбус светофора,
Лиловый полумрак прозрачен, но уже
Горит одно окно на пятом этаже.
<...>
«Преждевременная автоэпитафия»

В стихотворении мальчик клеит сборную модель самолета. И вот почти законченный самолет уже стоит, раскинувший крыла, посреди стола. Свет лампы, на столе – напильник, ножницы, флакончик ацетона.

Я помню эти модели: меня их тоже заставляли клеить. Заканчивалось все тем, что я шел спать, а модель доклеивал папа. Но тот апрель за красивой сахарницей на окне (на стол ставилась замусоленная фаянсовая ее сестра, сахарница же из стекла и металла выполняла роль вазочки – для чего? да для ничего, для ниток или каких-то записок, мелких предметов, карандашей, заколок) я тоже никогда не забуду.

...Я знаю, что и я когда-нибудь умру,
И если, как в одном рассказике Катерли,
Мы, обнесенные на грустном сем пиру,
Там получаем все, чего бы здесь хотели,
И все исполнится, чего ни пожелаю, —
Хочу, чтобы со мной остался этот рай:
Весенний первый дождь, вечерний сладкий час,
Когда еще светло, но потемнеет скоро,

Сиреневая тьма, зеленый влажный глаз
Приветствующего троллейбус светофора,
И нотная тетрадь, и книги, и портфель,
И гаммы за спиной, и сборная модель.

Где теперь эти модели, Дмитрий Львович? Кто их теперь клеит? (О ужасный русский язык. Теперь эта фраза читается совсем иначе. А мы и не знали этих значений: клеить – это было проводить кисточкой по ребру детали и потом прижимать к другой, и модель была совсем не глянцевой.)

И пусть кто-то клеил самолеты, собирал марки. Но календарики были лучшим и самым увлекательным собирательством. Они покупались в киосках, они выменивались у друзей, но высший пилотаж – они выигрывались. (Я нет, я не собирал, не выменивал и не выигрывал – я только свидетель.)

Читаю где-то: «Да, мы играли “в календарики”. Так мы тогда называли эту игру. Сейчас я понимаю, что это правильнее было бы назвать игрой в кости, где вместо ставок были календари – наши деньги, наша драгоценность, наша основная валюта. Мы играли в школе на переменах, во дворе на лавочках или у кого-нибудь дома. Для игры в основном шел “допнабор коллекции” – двойные или менее интересные календари. Основная коллекция обычно не трогалась и доставалась исключительно для показа или обмена».

Вся ценность лота и выигрыша не зависела от реальной стоимости (они и стоили-то, наверное, одинаково). Главным критерием была редкость.

Календарики Госстраха были самыми частыми, ценности не имели почти никакой. Дороже ценились календари с городскими видами (в каждом городе – свои). Потом календарики с картинками из мультфильмов и сказок. (Тоже невысокая ценность – никому не хочется казаться ребенком.) Ну а потом шли календари «цирковые», а высший пилотаж – с портретами известных артистов. Я смотрю сейчас в интернете на эти артистические календарики и почти никого из актеров не узнаю.

Удивительно, что все это существовало параллельно: коллекции календариков и тот же Всеволод Некрасов (а он ведь тоже советский: попробуй изъять из него эту спицу, спицу неприятия всего параллельного ему строя, и половина из его текстов станет туманной, хотя другая половина не нуждается, конечно, ни в каких приметах времени, живет уже в своей вечности коротких слов и междометий).

Всё
слушаем море.

В этом стихотворении, состоящем из всего трех слов, есть и жест, и программа. Это стихи как бы вообще без внешних признаков письма. Как пишет один критик: «По непривычности их даже можно принять за не-стихи».

(Только сейчас подумал: может, и календарик – это такой сознательный недокалендарь? Его смысл не в отсчете времени, хотя многие взрослые именно для этого его в кошельке и носили, а в том, чтоб собирать их, эти яркие глянцевые картонки, включать в коллекцию, потом выгодно обменять. Только подумать: время, которое можно обменять еще на что-то. Точнее, так: просроченное время, которое все равно можно обменять. Это ли не символ той нашей жизни? Баш на баш, год на год, красивая сахарница на окне, которая уже забыла, что она сахарница, и еще там же на подоконнике пустивший зеленые стрелки лук.)

Веточка
Ты чего

Чего вы веточки это
А
Водички
Всеволод Некрасов

Эта веточка не случайно стоит на окне. Мы устали от долгой зимы, снега, снега. Сорвали веточку, поставили в банку – через некоторое время она уже пустила корни. Прижалась почкой к стеклу: за стеклом все та же зима. Но в отдельно взятой квартире, как социализм когда-то в СССР, уже что-то похожее на весну.

...Мне пишут в одной из социальных сетей: «Люблю затяжные времена года, не важно какие. Когда нет явных перемен – кажется, время остановилось. И перестает за тобой гнаться: вот ты еще старше, вот еще, вот еще. Вон еще жизнь вперед убежала, а ты никак не успеваешь за ней. А так снег себе и снег – и время заморожено. И можно просто жить себе и жить – успокаивая себя тем, что время медленное, и твое время медленное, и все успеется в свой срок».

Я не стал смотреть профайл – уверен, что это пишет моя ровесница. Мы родом оттуда, из того времени, тех предметов, из тех календарей.

Она добавляет: «Похоже на то, как будто ты уже где-то там, в какой-то странной вечности. Там ничего не меняется, только метет снег. И так спокойно от этого».

Я отвечаю: «Как будто мы уже на том свете. А куда спешить с того света?»

И мне на это приходит: «Не важно даже, тот свет или этот, важно, что в нем времени нет. А где нет времени – там свобода... Я вообще чувствую, что настоящий антоним к свободе – это именно время... Время, а не что бы то ни было еще».

Поэтому, наверное, лучшее стихотворение про послесмертие, недосмертие, про свободу, про «времени нет» написал тоже советский поэт. Олег Чухонцев.

Там много того, что мы опознаем сразу: лук в заливном, свиной холодец (о, как долго он готовился сперва просто в кастрюле, потом в скороварке, которая пугала тем, что может взорваться) и горошек, горошек – горошка было много, странно, что он из продажи не пропал. Там не назван отрывной календарь – но я не сомневаюсь, что он там тоже висел: на шифоньере ли, на вбитом гвозде или еще где, но он там был. Кстати, возможно, он был пристроен прямо у входа, на стене, рядом с дверью, куда сейчас войдет герой (и кажется, он маленький еще: иначе почему ручка под лопаткой? Если бы он был взрослым – ручка двери уперлась бы ему в поясницу).

...И дверь впотымах привычную толкнул,
а там и свет чужой, и странный гул —
куда я? где? – и с дикою догадкой
застолье оглядел невдалеке,
попятился – и щелкнуло в замке.
И вот стою. И ручка под лопаткой.

А рядом шум, и гости за столом.
И подошел отец, сказал: – Пойдем.
Сюда, куда пришел, не опоздаешь.
Здесь все свои. – И место указал.
– Но ты же умер! – я ему сказал.
А он: – Не говори, чего не знаешь.
<...>

И вдруг герой видит весь этот странный обед. И вино, и заливное, и горошек, и блины, и мёд. А главное – холодец, холодец из поросячьих ножек.

И вдруг мысль: это же скорбные проводы, поминки.

То ли с этого света, то ли уже там.

<...>

Они сидели как одна семья,
в одних летах отцы и сыновья,
и я узнал их, внове узнавая,
и вздрогнул, и стакан застыл в руке:
я мать свою увидел в уголке,
она мне улыбнулась как живая.

В углу, с железной миской, как всегда,
она сидела, странно молода,
и улыбалась про себя, но пятна
в подглазьях проступали всё ясней,
как будто жить грозило ей – а ей
так не хотелось уходить обратно.

И я сказал: – Не ты со мной сейчас,
не вы со мной, но помysel о вас.
Но я приду – и ты, отец, вернешься
под этот свет, и ты вернешься, мать!
– Не говори, чего не можешь знать, —
услышал я, – узнаешь – содрогнешься.
<...>

И вот – неожиданное движение. Только, кажется, поднимали стаканы на посюшок, но уже все встали, а герой как прикованный. Распахиваются неожиданные двери, такой страшный лифт, и сразу закрылись. И то ли вверх этот лифт, то ли вниз. Но лифт ускоряется, а у сновидца на глазах – слезы.

<...>

И всех как смыло. Всех до одного.
Глаза поднял – а рядом никого,
ни матери с отцом, ни поминанья,
лишь я один, да жизнь моя при мне,
да острый холодок на самом дне —
сознание смерти или смерть сознания.

И прожитому я подвел черту,
жизнь разделив на эту и на ту,
и полужизни опыт подытожил:
та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я еще не прожил.

Недавно провожал в последний путь мать моей школьной подруги. Потом ехал обратно на такси, и по иронии судьбы таксист меня повез по улице Матросская тишина, где она и жила. Я поднял глаза и, пока машина ехала мимо, успел отыскать ее окна (кстати, тоже на пятом этаже). Сколько же там, в этой заставленной, почти захлавленной квартире, осталось советских вещей – несмотря на то что она, хозяйка, всегда была такой вполне себе сдержанной диссиденткой. Где-то лежит в чреве выдвижного ящика отрывной календарь за 1977 год. Где-то стоит пепельница, которая была куплена в Сочи. А главное – эта старая кухонная раковина. Чугунная. Эмалированная. Такая у меня тоже есть. Когда все меняли на новые, с алюминиевыми поддонами, я отказался. Только вкрутил новые ручки в дверцы. И раковина засияла. Благодарная, прекрасная, белоснежная, как будто она навсегда.

Сын шпиона, цветок лаванды

«Вау», – говорю я, пролистывая даты рождений и смертей, пришедшихся на 6 ноября, хотя я никогда не говорю «вау».

То есть это какой-то мой герой, субличность, существо совсем другого возраста, других привычек, другого цвета глаз, возможно, даже пола, это междометие помимо меня говорит.

Но есть от чего это «вау» сказать: 6 ноября 1943 года в Оттаве родился Саша Соколов.

Что это еще за Саша? Кажется, ему даже за это сокращенное имя попеняли, давно это было, в дружелюбной постсоветской критической статье: дескать, это все игра, игрушки, Саши, Паши, Маши, но сам-то Соколов – прекрасный писатель, надежда русской литературы, скоро он оставит все эти постмодернистические штучки, напишет настоящий русский роман, станет подписываться Александр Соколов. А еще лучше – Александр Всеволодович Соколов. (Не стал.)

Его хвалил Набоков. Набоков! Который вообще, кажется, мало кого хвалил.

Это он обозвал Бунина пошляком и старой тощей черепахой. А пастернаковский роман – жалкой топорной вещью.

Но про неизвестного ему Сашу Соколова скажет: трагическая, обаятельная и трогательнейшая книга. (Это он про «Школу для дураков».)

Бродский тоже ответит, только услышав по телефону первые страницы: «Надо печатать».

Но идиллии не получится.

Где-то я читал, что Бродский подумал, что «Школу для дураков» написал его ленинградский друг Владимир Марамзин, в 1975-м эмигрировавший во Францию. А когда оказалось, что она написана Соколовым, сразу же переменил свое мнение и потребовал книгу не издавать.

(Соколов, Соколов... Правда, когда отрываешь ее от Саши, фамилия сразу теряет свой блеск? Воробьев, Галкин, Петухов, Соколов. А если «пристегнуть» Сашу обратно, то сразу вся «птичесть» пропадает. Удивительная особенность.)

– Он [Бродский] готов был встретить меня как врага, – говорит в одном документальном фильме Саша Соколов. – И я видел, как его просто коробило при виде меня. Он был клановый человек. Он действительно многим помогал, но у него было болезненное неприятие москвичей. Может быть, он почувствовал, что я какой-то его соперник? Скажем, вот Набокову понравилась книга, Иосифу тоже, может быть, понравилась, он оценил это, но он испугался, просто испугался и не мог скрыть этого страха. Я не пытаюсь свести счеты, я ценю его поэзию. Но я был единственный человек, к которому он так относился. Я видел его в компаниях, он был совершенно расслабленный, с юмором, постоянно шутил, был душой компании. Но как только появлялся я, его паралич охватывал, он каменел.

Ну, Иосиф Александрович, ну что ж вы так?

Впрочем, Саша Соколов тоже не был таким уж великодушным. «Если Войнович – это литература, то я занимаюсь чем-то другим».

А так все хорошо начиналось.

...Вообще, конечно, удивительная судьба.

Родиться в Канаде в семье настоящих шпионов (отец – бывший фронтовик, командир танкового батальона, теперь служит в Оттаве военным атташе, но на самом деле выполняет задание по получению чертежей атомной бомбы, мать работает связной): в 1946 году их всех высылают.

Не разговаривать до трех с небольшим лет (все его считали немым). Заговорить первый раз со старшей сестрой.

Так это или не так, мы уже никогда не узнаем. Но, по словам самого Соколова (видите, как не работает одна фамилия, если отдельно?), он постоянно слышал вокруг речь на трех языках: русском, английском и французском – и просто не знал, какой выбрать. Потом выбрал. Кстати, интересно какой?

Теперь о том, почему не работает Соколов в отрыве от Саши.

Это же псевдоним. Не можем же мы себе представить Тэффи с именем Надежда. То есть представить, конечно, можем – потому что теперь ее так часто и печатают, ибо потом настоящее имя прилипло к псевдониму, – но вообще ее надо писать без всякого имени. Как изначально и было задумано.

Борис Акунин (никаких отчеств). Земфира (хотя и к ней потом прилипло отчество – Талгатовна). Любимая Земфирой певица Валерия. Шура́.

Так и Сашу Соколова мы должны принять только в режиме неразлепляемого текста. Никаких половинок.

Это как с неожиданным изменением цвета волос (немного в сторону, но вообще по существу вопроса).

...В Провансе, в котором более трехсот лавандовых ферм, в 1983 году неожиданно началась какая-то странная эпидемия. Лавандовая лихорадка. Триста тысяч человек пострадали от селекционного эксперимента: волосы большинства местных жителей вдруг окрасились в характерный ярко-фиолетовый цвет.

Причина скоро выяснилась: оказывается, одна из дочерей владельца лавандовой фермы попыталась создать сорт, пригодный для производства промышленных красителей.

И все бы ничего. Если бы это лавандовое масло, сделанное из урожая 1983 года, не попало в пищу.

А куда лаванда только в кулинарии не идет. И в супы, и в соусы, и в тушеную и жареную баранину. (Тут есть один секрет: лаванды не должно быть много, слишком уж сильный аромат.)

В десертах ей вообще нет равных. Ею и украшают, ею и ароматизируют. Кексы, пироги, печенья. Иногда даже замешивают в хлеб.

Ну а про сахар мы все знаем. Если цветы лаванды положить в сахар, а емкость закрыть, то через неделю у вас будет сиреневый рафинад, с которым можно пить чай или который можно отправить в тот же кекс.

(Трудно себе представить, но с ней можно даже коптить колбасы: добавил вместе с ягодами можжевельника в тлеющие опилки – и вуаля, как говорил один мой английский знакомый, надо сказать, совершенно лысый.)

А тут не какие-то отдельные цветки, а целое, сконцентрировавшее в себе тысячи соцветий масло.

Так вот, если окрасить волосы (через желудок – как бы дико это ни звучало) в ярко-фиолетовый цвет, если добавить слишком много лаванды в кекс, сахар, тушеную баранину или копченую колбасу, то это и будет история и судьба псевдонима: имя от фамилии теперь уже не оторвать. Как не оторвать вкус или лавандовый цвет от сахара или колбасной палки.

И уже не важно, о чем говорит прекрасный выросший мальчик, сын шпиона.

...О том ли, что не очень хорошо относится к политкорректности, потому что это всего лишь еще один способ «заткнуть рты всем, чтобы никто ничего лишнего не говорил, не обсуждал» (и, кажется, он оказался прав).

...О том ли, что присоединение Крыма к России он видит «неким восстановлением национальной гордости российской» (тут уже я благоразумно промолчу).

Все равно мы помним этот сиреневый цвет и привкус его прозы.

И его стихов, вмонтированных в первый роман.

Над кофейника носиком пар,
Словно капитулянтский флажок.
Нацеди кофейку, мой дружок,
Восхитителен этот навар.

Повевай, про Бразилию весть —
Аромат, что премного воспет.
Не беда, что бразильского нет,
Хорошо хоть с цикорием есть.

Интересно: в этом стихотворении из романа «Между собакой и волком» в кофе положили лаванду? Или обошлись без нее?

Но что мы всё о еде да о еде?

...Несущие на одежде своей снежинки, делятся обычно на два типа: хорошо одетые и плохо, но справедливость торжествует – снег делится на всех поровну.

(Саша Соколов. «Школа для дураков»)

Как же хорошо и печально сказано. Но мы не снег. Нам все поровну не разделить. Хотя... Через четверть века как Саша Соколов уехал из России, его родители покончили с собой. В один день.

– В течение многих лет моя мать делилась со мной своими планами. «Надо, пора, пора, – говорила мне она, – включить газ на кухне и уснуть». Я говорил: «Зачем? Почему?» Она говорила: «Земля тянет». Ее тяготило, особенно уже после лет пятидесяти. Психика, видимо, не выдерживала нагрузки, которую она в Канаде пережила в свои шпионские годы.

Говорят, у каждого есть проводник. Кошка, собака, птичка, в редких случаях волк (хотя какие волки у нас в городе или деревне?). Они появляются в сложные моменты и показывают нам возможность выхода.

Но может ли таким проводником быть цветок? Например, цветок лаванды.

Если она вдруг окрасила волосы многих людей в сиреневый дым, может, она хотела им этим что-то сказать? Например: бегите? Бросьте свои семьи, дома и бегите. Во что вы превратили свою жизнь? В тесто для пирога, в мясо для колбасы?

Может, вы были рождены для другого? Для бессмертной любви. Для великого стихотворения. Для третьего романа «Палисандрия», который невозможно читать. А ведь так все прозрачно начиналось.

Бывает так: с утра скучаешь
И словно бы чего-то ждешь.
То Пушкина перелистаешь,
То Пущина перелистнешь.

...Совершенно неясно, отчего ты просыпаешься с той или иной строчкой в голове. Как правило, это бывает перед рассветом. Если недоспал.

Я иногда просыпаюсь с «Очаровательно, снег выпал! И началась себе зима».

Ни к погоде, ни к осадкам, ни к Саше Соколову это отношения не имеет. И зима не началась, и снег не выпал. Но почему-то в голове именно эта строчка катается.

В идеале можно было бы написать рассказ. С какой строчкой или навязчивой фразой люди просыпаются.

Но иногда они просыпаются с лавандовым цветком во рту. И не знают, что я уже придумал название книги. Там, в названии, есть слово «стрекоза». И она бессмертна.

Цветок без твоего имени

Три неизвестных соцветья принесли мне на кухню и поставили в вазу. Длинный стебель, на нем три-четыре огромных бутона-раструба, похожих на каллы (но это не каллы). Один цветок отвалился, я его поставил в отдельную вазу для маленького цветка. Такая камера-одиночка, отдельная жилплощадь, Иудушка Головлёв.

Цветы живут в людских сердцах;
Читаю тайно в их страницах
О ненамеченных границах,
О нерасцветших лепестках.
Черубина де Габриак

Это всего лишь первое четверостишие, все стихотворение я цитировать не буду – мало какие стихи того времени выдерживают полное цитирование. Но первая строфа мне нравится.

Три неизвестных соцветья стоят и одуряюще пахнут. Сладким запахом (я даже сейчас его чувствую с кухни).

Три длинных соцветья (с отвалившимся от них индивидуалистом и, видимо, вундеркиндом) мне, как уже было сказано, неизвестны.

Цветы белоснежные, пестиков несколько, пестики светло-зеленые, расходящиеся, с головами Змея Горыныча, на самом конце – набалдашнички черные. Кто вы, алё? Мы вас на ботанике не проходили. Откуда вы – имя, имя, сестра?

Цветы, понятно, не отвечают.

Можно, конечно, взять отвалившегося брата, допросить, порезать его мучительной рыбью, но он не ответит. Можно и всю семью под пытку пустить, но тоже не ответят. «Пускай со мной умрет моя святая тайна, латинский мой извод».

А на этом стеклянном шарике только Ты
мне и светишь, хоть Ты стареющий злой фарцовщик.
Думал ли Ты когда, что взойдут цветы
вот такие из нищих маленьких безотцовщин.
Я танцую тебе, смеюсь, дышу горячо,
как та девочка у Пикассо, да-да, на шаре.
Ты глядишь на меня устало через плечо,
Апокалипсис, как рубильник, рукой нашаря.
Вера Полозкова. «Хорошо, говорю»

Попытался найти название цветов в интернете. Но разве русскому человеку интернет что расскажет?

«Белые цветы на длинных ножках соцветья». Интернет подсовывает алые розы.

Полез в интернет-магазин – «Доставка цветов в шляпных коробках».

Полез по картинкам – «Белые каллы ценой 1680.00 р.». Да не каллы, не каллы!

Так и умру, не узнав, как назывались эти три неизвестных соцветья, с длинной и твердой (но не мясистой) ножкой, на которой растут три-четыре отдельных бутона-раструба, с одним отвалившимся Иудушкой Головлёвым. Или Павлик Морозов, цветок-пионер, отрезанная десятая.

...Теперь совсем о другом. Однажды мне показали стихи Миклоша Радноти, которые он писал по дороге в лагерь уничтожения. Его расстреляли и бросили в общую могилу, после смерти стихи были найдены в тряпье, в которое превратилась его одежда.

У тебя на руках покачиваюсь
тихонько.
Тебя на руках покачиваю
тихонько.
У тебя на руках я словно дитя
малое.
И ты как дитя у меня, и тебя
я балую.
Руками меня обнимаешь, когда
мне боязно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.